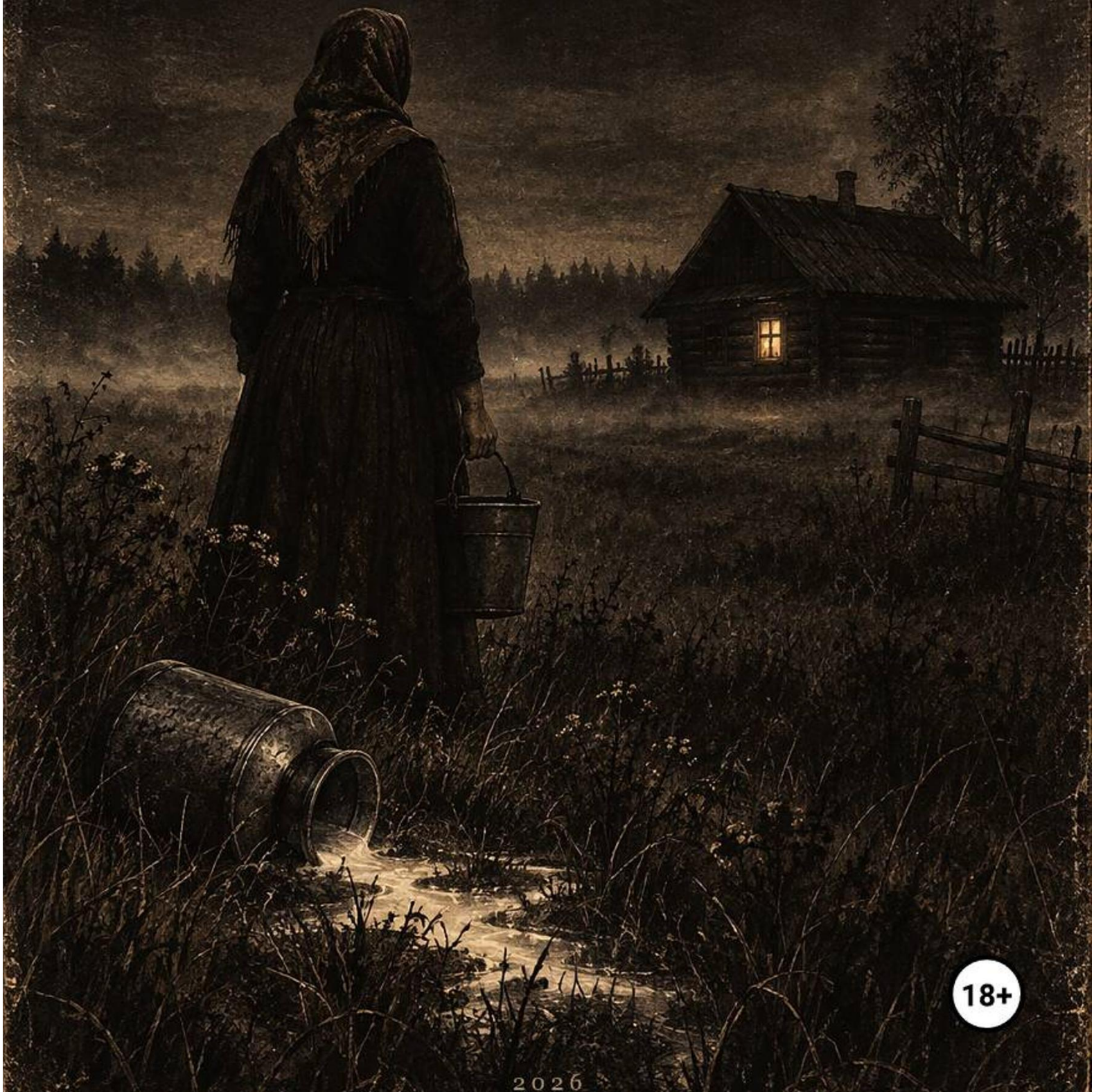
АЛЕКСАНДР ВАЛЕРЬЕВИЧ ЖАРКОВ

РОМАН

НЕЧИСТЬ

ПОЛЕВОЙ АТЛАС
СЛАВЯНСКОГО УЖАСА



18+

2026

Александр Жарков

НЕЧИСТЬ. Полевой атлас славянского ужаса

«Автор»
2026

Жарков А. В.

НЕЧИСТЬ. Полевой атлас славянского ужаса / А. В. Жарков — «Автор», 2026

Верхняя Сосновка, 1979. Молодой фельдшер Нина приезжает в деревню, где молоко пахнет топлёным, тени на траве не отбрасываются, а за печью стоит та, кого не называют по имени. Уехать она уже не сможет.Через четырнадцать лет филолог Александр Воронов собирает полевые записи о нечисти: ведьмах, русалках, хозяевах леса. Он ищет слова. Но чем больше тетрадей он читает, тем яснее понимает: он собирает не слова, а тех, кто их произносит. И они это знают. Последняя тетрадь в его сумке пока пуста.«Нечисть» — роман-атлас: четырнадцать глав, четырнадцать встреч и одна тетрадь, которая дописывается сама. Читайте по одной главе. Не больше. Между главами закрывайте книгу и смотрите на что-нибудь обычное: на чашку, на гвоздь в стене, на свои руки.

© Жарков А. В., 2026
© Автор, 2026

Содержание

Архив Воронова 5
От автора 6
Предисловие составителя 7
Оглавление 8
ЧАСТЬ I 9
Глава 1 9
Глава 2 29
Конец ознакомительного фрагмента. 38

Александр Жарков
НЕЧИСТЬ. Полевой атлас славянского ужаса

«Кто по имени не зовётся — того не зови. Кто во сне приходит — того не буди. Кто за печью стоит — того не спрашивай. А кто спросит — тому отвечать.»
Из тетради без обложки. Костромская губерния, 1913. Собрание Костромского этнографического кружка, ед. хр. 41.

«Я не верю в нечисть. Я верю в свидетельства.»
А. Воронов, полевая запись, 1974

Архив Воронова

АРХИВ ВОРОНОВА
ед. хр. 14
не выдаётся

От автора

Эта книга — роман. Воронов, деревни, имена, документы и архивные номера придуманы; совпадения случайны. Но всё, что в ней страшно, придумано не мной: оно взято из русских поверий, где и без того не было ничего безопасного.

Рукопись Воронова я собрал из чужих тетрадей, полевых записей и разговоров, которых, возможно, не было. Я не правил голос. Я только переписал его набело — и дважды проверил, что в комнате столько же людей, сколько было, когда я начинал.

А. Ж.

Предисловие составителя

Составитель А. И. Воронов
Издание второе, исправленное и дополненное
Кострома · 1993

Эта книга не должна была выйти.

Я начал её в семьдесят четвёртом как картотеку. Тридцать две карточки: название, ареал, повадки, способы защиты. Я был филологом, я собирал сказки — точнее, то, что от них осталось в деревнях, где ещё пели, но уже не верили. Мне казалось, что я собираю слова. Оказалось, я собираю то, что слова произносит.

За восемнадцать лет я объехал шестьдесят одну деревню. В Костромской, Вологодской, Псковской, Кировской, в Коми, в Карелии. Я записывал на катушечный «Маяк», потом на кассетник, потом снова на бумагу, потому что плёнка возвращалась чистой. Не всегда. Но достаточно часто, чтобы я перестал её включать.

В восемьдесят шестом я перестал фотографировать. Причина простая: на снимках появлялся лишний человек. Я говорю «появился», потому что по-русски это звучит слишком определённо. На плёнке было пятно, которое стояло там, где я стоял, но чуть сбоку, и на полшага позже. В архиве это пятно описано как дефект проявки. Я подписал так же. Я не дурак, я понимал, что подписываю.

В девяносто первом я сжёг часть картотеки. Не всю. Ту часть, где были имена живых. Потом я три ночи спал с открытым окном, потому что в комнате пахло молоком, а я не держу молока в доме.

Эта книга — то, что осталось. Я печатаю её не потому, что хочу. Я печатаю её потому, что если не я, то кто-нибудь другой, и он сделает хуже: он сделает из этого развлечение. А это не развлечение. Это отчёт.

Все имена, кроме имён нечисти, изменены. Даты, где я не уверен, помечены вопросительным знаком. Там, где я не уверен в человеке, стоит мой инициал.

Тексты глав восстановлены по полевым записям, дневникам информантов и — в двух случаях — по чужим тетрадям, которые я купил у людей, не понимавших, что продают. Я не всегда могу отделить то, что видели, от того, что им приснилось. В этой книге это одно и то же.

Я пишу это в комнате, где нет зеркал. Не потому, что я боюсь смотреть. Потому что в прошлый раз, когда я посмотрел, в зеркале было на одно отражение больше, чем людей в комнате, и второе отражение стояло ко мне спиной. Я не обернулся. Я сидел и считал до ста. На девяносто восьмом оно ушло.

С тех пор я не оборачиваюсь.

Я не знаю, сколько у меня осталось времени. Рука дрожит. Не от возраста — мне шестьдесят два, я ещё держу перо. Дрожит она с той ночи в Верхней Сосновке, когда я выпил у неё молоко и сказал, что оно коровье. Оно и было коровье. В этом всё дело.

Читайте по одной главе. Не больше. Между главами закройте книгу и посмотрите на что-нибудь обычное: на чашку, на гвоздь в стене, на свои руки. Убедитесь, что предметов столько же, сколько было.

Если покажется, что в комнате кто-то дышит в такт вашим шагам, но на полшага позже, — не оборачивайтесь. Закройте книгу. Выйдите. Постойте под уличным фонарём, пока не сосчитаете до ста.

Мне это помогало. Не всегда.

А. В.
Кострома, октябрь 1993
последняя страница дописана не мной. почерк мой. я не помню, как это писалось.

Оглавление

От автора
Предисловие составителя

ЧАСТЬ I. ЗЕМЛЯ

1. Молочный угол
2. Обратная сторона печи
3. Хозяин квартиры № 13
4. Чёрный пар
5. Колыбельная без слов

ЧАСТЬ II. ВОДА

6. Седьмой день после Троицы
7. Невеста без лица

ЧАСТЬ III. ЛЕС И ПОЛЕ

8. Три берёзы, которых не было
9. Не оборачивайся
10. Жар в полдень
11. Шкура на гвозде

ЧАСТЬ IV. МЁРТВЫЕ И БЕЗЫМЯННЫЕ

12. Земля не приняла
13. Возвращение отца
14. Оно
От издателя
ПРИЛОЖЕНИЕ I. Глоссарий нечисти по регионам
ПРИЛОЖЕНИЕ II. Карта «мест встреч»
Библиография

ЧАСТЬ I
ЗЕМЛЯ

«Земля держит всё. И то, что в ней живёт, держится за неё крепче, чем мы.»

Глава 1
МОЛОЧНЫЙ УГОЛ

Карточка существа

Поле	Содержание
Название	Ведьма. Ведунья. Знающая. Местные: «матюшиха», «пятина», «сношница», «та, что с ведром»
Класс	Земная нечисть. Симбионт. Не бродячая — оседлая
Ареал	Русский Север и Поволжье. Деревни при молочных фермах, при речных излучинах, при банях. Одна ведьма — один ареал, иногда одно село на три поколения
Повадки	Доит сны. Берёт плату словом, а не деньгами. Не нападает первой. Приходит, когда позвали — или когда долг созрел
Признаки присутствия	Молоко в доме киснет не по дням, а по часам. Пахнет топлёным и мокрой шерстью. Собаки не лают, а смотрят в одну точку. У коровы пропадает молоко, у хозяйки — сны
Опасность	Не убивает. Выдаивает. Человек без снов перестаёт различать, где он спит, а где стоит
Меры	Не говорить «спасибо» после заката. Не брать молоко из чужих рук, если рука теплее молока. Не соглашаться на «возьми» — ни в шутку, ни со зла
Достоверность	Высокая. 41 информант, 9 прямых свидетельств, 1 дневник
Примечание Воронова	Единственный случай, когда я не смог провести границу между информантом и объектом. Дневник прилагается. Я его не правил.

она не ведьма. она доярка. я потом понял, но было поздно.

***

I. Автобус

Автобус шёл в Верхнюю Сосновку по вторникам и пятницам, и оба раза — в дождь.

Нина потом думала, что если бы она приехала в сухую погоду, всё сложилось бы иначе. Но автобус был один, погода была одна, и другого начала у этой истории не имелось.

Она сидела у окна, держала на коленях чемодан с железными углами и смотрела, как за стеклом расходятся и сходятся мокрые ели. Ей было двадцать два. Она только что окончила костромское медицинское училище и получила распределение — фельдшерско-акушерский пункт, триста дворов, ближайший врач в райцентре, сорок километров по грунтовке. В училище говорили: «Глушь — это не наказание, это практика». Нина верила в практику. У неё в чемодане лежали четыре тома справочника и новенький фонендоскоп, который она купила на стипендию и который пах резиной и надеждой.

За задним стеклом стояли бидоны. Четыре штуки, серые, мятые, с крышками на проволочных защёлках. На повороте один поехал, и по полу потекла белая струйка. Она смешалась с грязью, которую нанесли ноги, и стала не белой, а серой, но всё равно была молоком. Нина смотрела на неё и думала: «Сейчас кто-то будет ругаться».

Водитель не ругался. Он смотрел вперёд и курил в форточку.

— Молоко везёте? — спросила Нина.

— Не, — сказал он. — Это посуда.

— Посуда течёт.

— Бывает.

Он докурил, бросил окурок в форточку и включил дворники. Дворники скрипели так, будто по стеклу водили сухой ладонью.

Село показалось сразу, из-за поворота: сорок изб в низине, шифер, железо, две антенны, водонапорная башня с дырой в боку. Над селом стоял пар — не туман, а именно пар, тёплый, с кислинкой, как над кастрюлей, которую сняли с огня и забыли.

Автобус остановился у магазина. Двери открылись с шипением, и в салон вошёл запах: мокрая шерсть, солярка, топлёное молоко и что-то ещё, чего Нина не смогла назвать. Она вышла, поставила чемодан в грязь и огляделась.

Никто её не встречал. В магазине горел свет, за стеклом стояла женщина в халате и смотрела на неё, не отводя глаз. Нина подняла руку. Женщина не подняла. Она просто стояла и смотрела, как смотрят на поезд, который проходит мимо и уже не остановится.

ФАП находился в конце улицы. Изба под железной крышей, крашенной суриком, с вывеской, на которой было написано «ФЕЛЬДШЕРСКО-АКУШЕРСКИЙ ПУНКТ» и ниже, от руки, химическим карандашом: «ЗАКРЫТО».

Замок висел на дужке, но дверь была не заперта. Замок висел для вида — как оберег. Нина сняла его, толкнула дверь и вошла.

Внутри пахло пылью, спиртом и старым деревом. На гвозде висел халат — мужской, большой, с оторванной пуговицей. На столе лежали ампулы в картонной коробке, стеклянный шприц, три пожелтевших бланка. Календарь на стене показывал март 1977 года. Кто-то оторвал от него два года и ушёл.

Под банкой с ватой лежала записка. Нина взяла её, развернула. Почерк был крупный, круглый, ученический:

«Не лечи от сна. Это не болезнь.»

Последние два слова были зачёркнуты так, что бумага протёрлась до дыр. На обороте, другим почерком, мелким и косым, было приписано:

«Это диагноз.»

Нина постояла с запиской в руке. Потом положила её обратно, придавила банкой и вышла на крыльцо.

Дождь кончился. Над селом висел светлый, безветренный вечер, и в этом свете было что-то неправильное — слишком много места. Дома стояли далеко друг от друга, а между ними лежала трава, выкошенная до земли, и на траве не было ни одной тени. Нина посмотрела на небо. Солнце уже село, но тени должны были остаться — от домов, от столбов, от неё самой. Теней не было.

Она подумала: «Пасмурно». Потом подумала: «Вечером всегда так».

Потом она ещё много раз будет вспоминать этот момент и думать, что тогда, на крыльце, у неё был выбор: уехать следующим автобусом, в пятницу, и никогда не узнать, чем пахнет топлёное молоко в чужом доме. Но она была молодой, у неё был диплом и фонендоскоп, и она думала, что медицина — это про людей.

Медицина оказалась про то, что остаётся от людей, когда они перестают спать.



Верхняя Сосновка, сентябрь 1979. Первый день.

II. Молоко

Матрёну Семёновну Пятину ей показала Аграфена Павловна, соседка, у которой Нина сняла комнату. Аграфена была женщиной лет семидесяти, с лицом, похожим на печёное яблоко, и с привычкой говорить негромко, будто в доме кто-то спал.

— К Матюшихе сходи, — сказала она, когда Нина спросила, к кому идти первому. — У неё грудь. Она давно зовёт.

— Мастит?

— Не знаю, милая. Она говорит — грудь. Ты посмотри. Ты же учёная.

Дом Матрёны стоял на отшибе, у самой воды. Речка здесь делала петлю — широкую, ленивую, почти замкнутую, — и в этой петле вода стояла без течения, тёплая даже в сентябре. Место называли Молочный угол. Нина потом узнала, что раньше сюда сливали молоко: не прокисшее, не от больной коровы, а первое, «верхнее», самое жирное. Сливали «той, что под водой». Так делали ещё при царях, так делали при немцах, так делали, когда Нина приехала.

Дом был низкий, вросший в землю, с двумя окнами на реку. Наличники — резные, с травяным узором, и в узоре, если смотреть долго, угадывалось лицо. Нина не стала смотреть долго. Она постучала.

Открыла сама Матрёна. Маленькая, сухая, в двух платках — белом и сверху тёмном, — она стояла в дверях и смотрела на Нину светло-серыми глазами, цвет которых не менялся от света. Как снятое молоко. Как вода в бидоне.

— Ты кто? — спросила она.

— Фельдшер. Сорокина Нина Валерьевна. Меня предупредили, что вы...

— Заходи, — сказала Матрёна и отступила в дом.

Внутри пахло топлёным молоком и мокрой шерстью. И ещё чем-то, что Нина не смогла назвать: как будто в доме держали много кошек и ни одну не выпускали. Пахло тёплой пылью, сухим сеном, кислым тестом. Пахло так густо, что Нина почувствовала, как у неё запершило в горле.

— Раздевайся. Садись.

Нина села на табурет у стола. Стол был чистый, выскобленный до белизны, и на нём стояла одна вещь: большая эмалированная кружка, полная молока. Молоко было тёплое, с пеной, и над ним поднимался пар.

— Бабушка, — сказала Нина, — давайте я вас послушаю.

— Послушай, — согласилась Матрёна.

Она села напротив, положила руки на стол. Руки были в трещинах, и в трещинах была белая мука — или известь, или что-то ещё. Нина достала фонендоскоп, приложила к груди. Сердце стучало редко и тяжело, как костыль по полу. Она посчитала. Потом посчитала ещё раз.

— Тридцать восемь, — сказала она.

— Чего тридцать восемь?

— Ударов. У вас пульс тридцать восемь.

— А сколько надо?

— Ну... шестьдесят.

— Мне шестьдесят не надо, — сказала Матрёна. — Мне шестьдесят — это когда помирать. А я ещё дою.

— Кого доите?

— Корову, кого.

Нина сняла манжету, положила на стол. В доме было тихо. За окном вода плескалась о берег — тихо, ритмично, как будто кто-то мыл пол.

— У вас температура?

— Не знаю. Не мерила.

— Давайте померим.

— Померий, — сказала Матрёна и подставила подмышку руку, как маленькая.

Градусник показал тридцать пять и восемь. Нина подержала его ещё минуту — ртуть не двинулась.

— Бабушка, а грудь?

— Грудь ничего. Грудь — это я так сказала, чтобы ты пришла.

Нина подняла глаза.

— Зачем?

— Поговорить, — сказала Матрёна. — Ты пей молоко. Не бойся. Коровье.

Нина взяла кружку. Молоко было тёплое, густое, сладкое — не приторное, а как будто в него добавили каплю мёда и каплю соли. Оно пахло не молоком, а человеком: шеей ребёнка, утренним дыханием, чистой кожей. Нина выпила половину и поставила кружку.

— Спасибо, — сказала она.

Матрёна посмотрела на неё и улыбнулась. Улыбка была без зубов и без тепла.

— Не говори «спасибо» после заката, — сказала она. — Скажи «благодарствую».

— Почему?

— Потому что «спасибо» — это «спаси Бог». А Бога в этом доме нет. Значит, кто услышит?

Нина засмеялась. Матрёна не засмеялась.

— Ты мне понравилась, — сказала она. — Ты не боишься трогать чужое тело. Это хорошо. Это редко.

— Я фельдшер.

— Фельдшер, — повторила Матрёна, как будто пробовала слово на вкус. — Это хорошо. Это почти то же.

Она встала, подошла к печи, открыла заслонку и достала чугунок. В чугунке было молоко — топлёное, с коричневой пенкой. Она налила его в другую кружку, поставила перед Ниной.

— Пей.

— Я больше не хочу.

— Пей, — сказала Матрёна. — Я с тебя денег не возьму. Я с тебя сон возьму. Один. У тебя их много.

Нина посмотрела на неё. В доме стало очень тихо. Вода за окном перестала плескаться.

— Какой сон?

— Первый, который придёт, — сказала Матрёна. — Не помнишь — и хорошо. Я запомню.

— Я не согласна.

— А я и не спрашиваю, — сказала Матрёна. — Я тебя предупреждаю. Это разные вещи.

Она пододвинула кружку ближе.

— Пей, — сказала она. — Пока тёплое.

Нина не помнила, как выпила вторую кружку. Помнила только, что в какой-то момент кружка оказалась пустой, а Матрёна смотрела на неё и кивала, как кивают, когда дело сделано.

Ночью ей приснился мальчик под льдом.



М. С. Пятина, 81 г. Снято со слов. Не фотографировать.

III. Первый сон

Ей было холодно. Не так, как бывает холодно на улице, — а изнутри, в костях, в зубах, в глазницах. Она лежала на спине и смотрела вверх, и над ней был лёд. Толстый, серо-белый, с пузырьками воздуха, застывшими на полпути. Сквозь лёд пробивался свет — мутный, вечерний, — и в этом свете было видно дыру. Круглую, аккуратную, как будто кто-то вырубил её пешнёй.

Она была мальчиком. Она знала это не умом, а телом: короткие пальцы, стянутая резинкой шапка на затылке, валенки, которые тянули вниз, ко дну. Она лежала на спине и не могла пошевелиться. Вода вокруг была не жидкая, а густая, как молоко, и в ней плавали белые хлопья.

Над дырой появилось лицо. Женское, молодое, с широко раскрытыми глазами. Лицо смотрело вниз, в воду, и не видело её.

«Тут я», — хотел сказать мальчик. Вода вошла в рот, и он не сказал ничего.

Лицо исчезло. Потом появилось снова — ближе, уже с рукой. Рука тянулась вниз, в дыру, и пальцы были длинные, белые, с обломанными ногтями.

Мальчик смотрел на руку и думал: «Не надо». Он не хотел, чтобы его вытаскивали. Он хотел, чтобы его оставили. Ему было хорошо. Ему было тихо. Вода держала его, как держат на руках, и в воде не было боли.

Рука схватила его за воротник.

Нина проснулась от того, что у неё во рту был лёд.

Она лежала в комнате Аграфены на железной кровати, укрытая двумя одеялами, и дышала так, будто долго бежала. В комнате было темно. Пахло мокрой шерстью и топлёным молоком.

Она села. Одеяло сползло. На полу у кровати лежала лужа — небольшая, аккуратная, круглая. В луже плавали две белые щепки.

Нина посмотрела на свои ноги. Они были мокрые до колен. Валенок не было — она и не привозила валенок. На подошвах — грязь, ил, мелкая рыбья чешуя.

Она просидела так до утра. За окном было тихо. Вода в речке стояла без течения — как в бидоне.

Утром Аграфена напоила её чаем и сказала:

— Ты не спи ночью на спине. На спине нельзя. На спине она тебя и берёт.

— Кто — она?

— Матюшиха, — сказала Аграфена и перекрестилась. — Или та, что под водой. Они заодно.

— Это был сон.

— Ну, — согласилась Аграфена. — Сон. А ты проверь, сколько у тебя снов осталось. Считай. Утром считай, вечером считай. Когда перестанешь считать — значит, всё.

Нина тогда не поняла, что она имеет в виду. Поняла через неделю, когда перестала считать.

***

IV. Из полевых заметок: три правила

Записано со слов информантов. Сводка моя. — А. В.

Первое. Ведьма не может взять то, что не отдано словом. Слово можно выманить, выпросить, выклянчить, вытрясти из человека в сердцах — но нельзя отнять молча. Поэтому ведьмы

так любят разговоры. Поэтому они спрашивают: «Хочешь?», «Возьмёшь?», «Тебе не жалко?» — и ждут. Ждут, пока человек скажет «да» или просто кивнёт, потому что кивок — тоже слово, если его услышали.

Второе. Ведьма не злая. Она при исполнении. У неё счётная логика: долг, плата, срок. Она не мстит — она взыскивает. Если вам кажется, что она поступила жестоко, значит, вы просто не знаете, сколько с вас причитается.

Третье. Ведьма не может умереть, пока не передаст дело. И не может жить, когда передаст. Между этими двумя невозможностями — вся её жизнь. Поэтому она ищет ученика. Поэтому она торгуется. Поэтому она не убивает: убитый ученик — это ученик, который не сказал «да».

третье правило она мне сказала сама. я записал. она засмеялась и сказала: «Ты уже ученик, раз слушаешь». я не придал значения. я тогда много чему не придавал.



Сон первый. Записан со слов С. М., 1972.

V. Девочка, которая не спала

Валя Кузнецова не спала одиннадцать дней.

Её привела мать, Тамара, — худая женщина с обесцвеченными волосами и руками, красными по локоть. Валя шла сама, держась за её руку, и смотрела не вперёд, а как будто внутрь себя, в то место, где у людей бывают сны.

Она была маленькая для своих девяти лет, с острыми ключицами и стриженными волосами. Под глазами — синие полукруга, как нарисованные.

— Не спит, — сказала Тамара. — Одиннадцатый день. Ложится, глаза закрывает — и лежит. Я думала, притворяется. А она не притворяется. Она не спит.

Нина присела перед девочкой.

— Валя, ты чего не спишь?

Валя посмотрела на неё. Глаза были ясные, без слёз, без страха. В них было что-то другое — терпение. Так смотрят люди в очереди, которую они не выбирали.

— Она ждёт, — сказала Валя.

— Кто?

— Та, которая с ведром.

Нина оглянулась на Тамару. Тамара стояла у двери и смотрела в пол.

— Тамара Петровна, — сказала Нина, — что она видела?

— Ничего она не видела. Она маленькая. Ей кажется.

— Мне не кажется, — сказала Валя спокойно. — Я её видела. Она стоит во дворе и держит ведро. Ведро полное. Она не заходит. Она ждёт, когда я засну и скажу «ладно».

— Что «ладно»?

— Всё. Что угодно. Она спросит — я скажу. А нельзя.

Нина измерила девочке давление, послушала сердце, посмотрела зрачки. Всё было в норме — слишком в норме. Пульс ровный, как метроном. Температура тридцать шесть и шесть. Кожа сухая, тёплая, без сыпи. Ребёнок, который не спал одиннадцать дней, должен был выглядеть хуже.

— Ей нужен сон, — сказала Нина. — Я дам ей капли. Пусть поспит.

— Нельзя, — сказала Тамара.

— Почему?

Тамара подняла глаза. В них была такая тоска, что Нина отшатнулась.

— Потому что я уже взяла, — сказала Тамара. — Я у неё взяла. Я думала, ничего. Я думала, она маленькая, у неё снов много.

— Что вы взяли?

— Фельдшера не было. Я к Матюшихе пошла. У Вали жар был, сорок. Я говорю: сделай что-нибудь. Она говорит: платить нечем. Я говорю: возьми с неё, она маленькая, у неё снов много. Я не подумала. Я думала, это как волосы отрезать.

— И что?

— И всё. Жар прошёл. А она не спит. Одиннадцать дней.

Нина села на стул. В комнате пахло валерьянкой и мокрой шерстью. За окном накрапывал дождь.

— Почему она не может сказать «ладно»? — спросила Нина.

— Потому что тогда та заберёт всё, — сказала Тамара. — Не один сон. Все. Она так делает. Она спрашивает один раз, а берёт, сколько есть.

— Кто вам это сказал?

— Матюшиха.

— И вы ей поверили?

Тамара посмотрела на неё долго и без злобы.

— Милая, — сказала она. — Я ей не верю. Я ей плачу.

***

Нина осталась на ночь. Она постелила себе на полу в детской, у кровати Вали, и положила под подушку фонендоскоп — не потому, что он мог помочь, а потому, что это была единственная вещь в доме, которая была про медицину.

Валя лежала с открытыми глазами. В темноте они блестели, как две монеты.

— Нина Валерьевна, — сказала она.

— Что?

— А вы видели мальчика под льдом?

Нина замерла.

— Какого мальчика?

— Серёжу. Он утонул в семьдесят втором. Ему было семь. Он теперь в воде, и ему там хорошо, и он не хочет, чтобы его вытаскивали. Но его всё равно тянут. Каждую ночь кто-нибудь тянет.

— Кто тянет?

— Та, которая с ведром. Она его тянет и не вытягивает. Он не отдаётся. Он говорит: «Не надо». А она говорит: «Надо».

Нина хотела спросить, откуда девочка это знает. Не спросила. В комнате стало холодно — не зимой, а как в погребе.

В три часа ночи Валя заснула.

Это было внезапно: вот она лежит с открытыми глазами, вот уже нет. Дыхание выровнялось, лицо обмякло, руки разжались. Нина приподнялась на локте.

В комнате запахло молоком.

Не топлёным — сырым, тёплым, как из-под коровы. Запах шёл от окна. Нина повернула голову.

За окном, во дворе, у самого стекла, стояла Матрёна Семёновна Пятина. В халате, в двух платках, с ведром в руке. Ведро было полное — через край, и в лунном свете молоко казалось не белым, а голубым.

Она стояла и смотрела в окно. Не двигалась. Не моргала. Ведро не качалось.

Нина хотела встать, но не смогла. Тело не слушалось — как в том сне, под льдом. Она лежала и смотрела, как старуха стоит за стеклом, и в какой-то момент ей показалось, что за спиной Матрёны, в темноте, стоит что-то большое и белое и дышит.

Валя во сне сказала:

— Не надо.

Пауза. Долгая, как вдох.

Потом другим голосом, спокойным и взрослым:

— Ладно.

Матрёна за окном кивнула. Ведро качнулось. Молоко плеснуло через край и не упало на землю — исчезло, как будто впиталось в воздух.

Нина проснулась утром на полу, в одеяле, с мокрым лицом. В комнате пахло молоком. Валя спала — глубоко, ровно, с закрытыми глазами. На её левой ладони, у большого пальца, была маленькая белая отметина, похожая на след от дужки ведра.



Ночь с 12 на 13 октября 1979. Видела фельдшер С.

VI. Разговор

Нина пришла к Матрёне в тот же день. Не постучала — вошла.

Старуха сидела у печи и чистила картошку. Перед ней на табурете стоял таз с водой, и вода была белая.

— Сядь, — сказала Матрёна, не поднимая головы. — Ты пришла ругаться. Ругайся сидя.

— Вы взяли у девочки сон.

— Я взяла то, что мне отдали.

— Ей девять лет.

— И что? — Матрёна подняла глаза. — Девять лет — это уже человек. В девять лет она знает, что такое «ладно». Она сказала. Я слышала. Ты слышала.

— Она сказала во сне.

— А где ещё говорить? — Матрёна пожала плечами. — Днём люди врут. Ночью не врут. Ночью человек говорит то, что есть.

Она бросила картошку в таз. Вода плеснула.

— Ты думаешь, я злая, — сказала она. — Я не злая. Я как скотник. Пока скотник ходит, скот сыт и в хлеву тепло. Уйдёт скотник — скот разбредётся и подохнет. Только у меня не скот. У меня сны. Их надо доить, а то они скиснут в людях. А скисшие сны — это тоска. От тоски люди вешаются, ты это по своей медицине знаешь. От тоски бабы детей в прорубь бросают. От тоски мужики на печке живьём сгорают. Я не отнимаю. Я выдаиваю. Чтобы не скисло.

— Вы выдаиваете детей.

— Я выдаиваю всех, — сказала Матрёна спокойно. — Кто-то должен.

— Почему вы?

— Потому что я согласилась.

Она вытерла руки о фартук и посмотрела на Нину в упор. Глаза у неё были светлые, как снятое молоко, и в них не было ни злобы, ни жалости.

— Ты думаешь, я родилась такая? Я в сорок первом в лес ходила с двумя детьми. Мне было девятнадцать. Я пришла к ней — вот к этой, что под водой, — и сказала: «Возьми что хочешь, только детей оставь». Она взяла. Детей оставила. Я потом всю жизнь платила. Всю жизнь. Я не жалуюсь.

— Кто она?

— Кормилица, — сказала Матрёна. — Корова. У неё нет глаз, и она всё видит. У неё нет рта, и она всё ест. Она стоит в подполе и ждёт. Я её дою. А когда я перестану, она выйдет.

— Почему вы не уйдёте?

— Куда? — Матрёна засмеялась. — Милая, я и есть то, что не уходит. Я умру — она останется. Ей нужна доярка. Не я. Доярка. Ты понимаешь?

Нина понимала. Она сидела на табурете и смотрела на старуху, и в ней поднималось что-то, чего она не хотела называть страхом, потому что страх — это когда боишься, а это было другое. Это было как узнавание.

— Я не буду, — сказала она.

— Будешь, — сказала Матрёна. — Не сейчас. Сейчас ты молодая. Ты думаешь, что твоё дело — лечить. А моё дело — доить. Это одно и то же, только с разных сторон. Ты посмотри на свои руки.

Нина посмотрела. Руки были чистые. Она мыла их дважды.

— Ты уже видишь сны, — сказала Матрёна. — Чужие. Я тебе их показываю, чтобы ты поняла. Ты думаешь, это я тебе насылаю? Нет. Я тебе открываю. Ты их и раньше видела, просто не помнила. Все фельдшеры видят. Поэтому они здесь не держатся.

— Тот, кто был до меня...

— Петя? — Матрёна вздохнула. — Петя был хороший. Он не захотел доить. Он ушёл в лес и вернулся без памяти. Живой. В райцентре живёт. Ходит. Говорит. Только у него теперь нет снов. Совсем. Он спит и не видит ничего. Знаешь, как он говорит? «Темно, и всё». Он не жалуется. Он говорит: «Зато тихо».

— Вы его тоже...

— Я его не трогала, — сказала Матрёна резко. — Он сам. Он пошёл в лес и попросил. Лес дал. Лес всегда даёт, если просить по-хорошему. Только потом не отдаёт.

Она встала, подошла к подполу, подняла крышку. Из подпола пахнуло холодом и молоком — густым, тяжёлым, как будто там держали не бидоны, а тела.

— Хочешь посмотреть? — спросила она. — Пойдём. Ты всё равно не поверишь, пока не увидишь.



Молочный угол. Подпол. Схема составлена по памяти. Память может врать.

VII. Молочный угол

Подпол был глубокий. Ступени — земляные, укреплённые досками, скользкие. Нина спускалась за Матрёной, держась за стену, и стена была мокрая и тёплая, как кожа.

Внизу было просторно. Не подпол, а целый склад: сводчатый, с земляными стенами, с потолком, уходящим во тьму. Вдоль стен стояли бидоны. Много. Сотни. Может, больше. Они стояли в ряд, как солдаты, и на каждом был нацарапан гвоздём имя.

«Аграфена П.» «Иван Ф.» «Тамара К.» «Валя К.» «Серёжа М.» «Петя Д.»

Нина шла вдоль ряда и читала. Имена были разные — старые, детские, деревенские, городские. Некоторые были перечёркнуты. Некоторые — подчёркнуты дважды.

В центре склада стояла корова.

Она была белая. Не как снег — как снятое молоко, с серым оттенком, с голубыми прожилками на боках. Она была большая, больше любой коровы, которую Нина видела, и от неё шёл жар, как от печи. Глаз у неё не было. Не глазницы — просто гладкая кожа, натянутая, как на вымени. Рта тоже не было. Но она дышала — медленно, глубоко, и в такт дыханию в бидонах поднималось молоко.

Нина стояла и смотрела. Она не чувствовала страха. Она чувствовала то, что чувствует человек, когда входит в операционную: всё не так, как должно быть, но всё на своих местах.

— Это она, — сказала Матрёна. — Кормилица.

Корова повернула голову — медленно, как поворачивают тяжёлый механизм. Пустая кожа там, где должны были быть глаза, смотрела на Нину.

И заговорила.

Голосом мальчика. Того самого. С хрипотцой, с деревенским «тётя».

— Тётя, — сказала корова. — Тут холодно.

Нина не отступила. Она стояла и смотрела, как в белой коже шевелится что-то, чего не должно быть.

— Тётя, — сказала корова. — Тут никак.

— Кто это? — прошептала Нина.

— Это все, кого я выдоила, — сказала Матрёна. — Они во мне. Не пугайся. Они не мучаются. Они просто... никак. Как в воде. Как под льдом.

— Выпустите их.

— Не могу. — Матрёна покачала головой. — Они уже не сны. Они молоко. Молоко обратно не вливают.

Корова сделала шаг. Пол под ней не скрипнул. В бидонах плеснуло.

— Тётя, — сказала она. — Возьми меня за руку.

Нина посмотрела на неё. У коровы не было рук. Но в белой коже, у самого пола, что-то шевелилось — пять длинных бледных отростков, похожих на пальцы.

— Не подходи, — сказала Матрёна резко. — Она тебя зовёт. Она всегда зовёт. Она не может взять, если ты не подойдёшь.

Нина стояла. Один шаг. Один шаг — и можно было бы сказать «ладно», и всё бы кончилось: и страх, и холод, и чужие сны. Одно слово.

Она представила, как говорит его. Как оно выходит из неё, тёплое, как молоко, и как корова пьёт его.

— Нет, — сказала она.

Корова молчала. Потом в бидонах что-то стукнуло — раз, другой, — как будто кто-то изнутри бил в крышку.

— Нет, — повторила Нина громче. — Я не согласна.

Она повернулась и пошла к лестнице. Матрёна не пыталась её остановить. Она стояла у бидонов, маленькая, сухая, и смотрела ей вслед.

— Ты вернёшься, — сказала она. — Все возвращаются. Не потому, что хотят. Потому что дети не спят.

Нина вылезла из подпола, выбежала из дома, добежала до реки и остановилась. Вода в Молочном углу стояла без течения, гладкая, как стекло. В ней отражалось небо — серое, вечернее, — и в этом отражении, чуть сбоку, стояла белая корова.

Нина не обернулась.

***

VIII. Сделка

Дети начали засыпать на третий день.

Не все сразу. Сначала Валька Кузнецова проспала сутки и проснулась вялая, тихая, с белой отметиной на ладони. Потом уснул её брат, пятилетний Мишка, — прямо за столом, лицом в кашу. Потом ещё трое. Потом ещё.

Они не умирали. Они спали. Дышали ровно, ели, когда их будили, ходили в туалет, снова ложились. Но в глазах у них было то же, что у Вали в ту первую ночь: терпение. Как у людей в очереди, которую они не выбирали.

Председатель, Иван Фёдорович Сухоруков, пришёл к Нине сам. Большой, красный, в резиновых сапогах, он стоял в дверях ФАПа и мял шапку.

— Ты фельдшер, — сказал он. — Ты и лечи.

— Это не болезнь.

— А что это?

Нина молчала. Она смотрела на его руки. Руки у него тряслись.

— Иван Фёдорович, — сказала она, — вы пили у неё молоко?

Он не ответил. Он смотрел в сторону.

— Пили, — сказала Нина. — И что вы ей сказали?

— Я сказал... — он сглотнул. — Я сказал: «Дай хоть ты покоя». Я не про сон. Я про покой. Я устал, понимаешь. Я двадцать лет председателем. Я устал.

— Она взяла.

— Взяла, — согласился он. — И что теперь?

Нина посмотрела в окно. На улице было пусто. Дети спали по домам. Взрослые ходили на цыпочках, говорили шёпотом, и в селе стояла та особенная тишина, которая бывает только там, где все боятся разбудить одно и то же.

— Теперь я пойду, — сказала она.

Матрёна ждала её на крыльце. Она сидела на ступеньке, в тулупе, с ведром между колен, и смотрела на реку.

— Я знала, — сказала она. — Ты пришла раньше, чем я думала. Хорошая девочка.

— Я не девочка.

— Все девочки, — сказала Матрёна. — Пока не начнут доить.

Нина села рядом. Ведро было полное. Молоко в нём было тёплое, и от него шёл пар.

— Что я должна сделать?

— Ничего особенного, — сказала Матрёна. — Взять ключ. Взять тряпку. Сказать слова. И всё.

— Какие слова?

— «Беру не своё, отдаю не своё. Дою чужое, пою своим». Скажешь — и она тебя примет. Не скажешь — она тебя выпьет. Ты уже пила её молоко. Ты уже видишь. Обратно дороги нет.

Нина смотрела на воду. В Молочном углу вода стояла гладкая, как стекло, и в ней ничего не отражалось — ни неба, ни берега, ни её самой.

— А если я скажу по-другому?

— Как по-другому?

— По-своему.

Матрёна посмотрела на неё. Впервые за всё время в её глазах что-то шевельнулось — не страх, а любопытство.

— Скажи, — сказала она. — Посмотрим.

Нина встала. Она достала из кармана фонендоскоп — не для того, чтобы слушать, а просто потому, что он был тёплый, — и сказала:

— «Беру не своё. Отдаю не своё. Дою чужое. Пою своим».

Матрёна ждала.

— И?

— И по показаниям, — сказала Нина.

Старуха засмеялась. Смех был сухой, короткий, как кашель.

— Ты прибавила.

— Я фельдшер.

— Ну, — сказала Матрёна. — Тогда дои, фельдшер.

Она отдала ей ключ. Ключ был железный, большой, холодный — и тёплый там, где его держала рука.



Единственная встреча, которую я могу подтвердить. А. В., 1981.

IX. Молоко обратно

Она доила три месяца.

Это оказалось просто. Проще, чем она думала. Ночью она спускалась в подпол, садилась на табурет у белой коровы и делала то, что делают доярки: мыла руки, вытирала вымя тряпкой, надевала на соски резиновые трубки — не те, что в роддоме, а другие, из мягкой кожи, — и ждала. Молоко шло само. Оно было тёплое и пахло человеком.

Каждое утро она выносила бидон во двор. В бидоне было молоко, и в молоке были сны. Она разливала их по кружкам и ставила на крыльцо. Люди приходили и пили. Некоторые говорили «спасибо». Некоторые молчали.

Она не забирала сны. Она их возвращала.

Сначала ничего не происходило. Потом Аграфена Павловна выпила свою кружку и заплакала — впервые за двадцать лет, как она сама сказала. Ей приснился муж, который умер в шестьдесят восьмом, и рубаха, которую она закопала в огороде, потому что не могла смотреть, как он её носит. Она проснулась и сказала: «Он простил». Нина не спрашивала, кто.

Потом Иван Фёдорович выпил свою и проспал двенадцать часов. Проснулся и сказал: «Я видел поле. Я в нём стоял. Я его всё время видел, а теперь оно во мне». Он ушёл с ФАПа другим человеком — тише, спокойнее.

Дети просыпались. Медленно, по одному, как всходят семена. Валя проснулась на четвёртый день и первым делом спросила: «А Серёжа?» Нина сказала: «Серёжа остался». Валя кивнула. Она поняла.

Матрёна умирала.

Это было странно: она не болела, не чахла, не лежала. Она просто становилась меньше. Каждый день — на палец, на два. Кожа обтягивала кости, кости становились легче, глаза светлели. К Рождеству она была размером с ребёнка и весила, наверное, столько же.

Нина приходила к ней каждый вечер. Они пили чай — уже не молоко, чай, — и Матрёна говорила. Говорила много, торопливо, как будто боялась не успеть.

— Ты не так доила, — сказала она однажды. — Ты отдавала обратно. Оно не любит, когда отдают.

— Кто — оно?

— Кормилица. Она берёт и держит. Она не умеет отдавать. Ты её заставила. Она теперь голодная.

— И что будет?

— Не знаю, — сказала Матрёна. — Я первый раз умираю.

Она умерла в ночь на Крещение. Нина была рядом. Матрёна лежала в постели, маленькая, как кукла, и дышала всё реже. Перед последним вздохом она открыла глаза и сказала:

— Ты её не убила. Ты её приручила. Это хуже.

— Почему хуже?

— Потому что теперь она твоя, — сказала Матрёна. — А ты — её. Вы теперь одно. Поздравляю, доярка.

Она закрыла глаза и больше не открыла.

Нина похоронила её на сельском кладбище, за оградой, у самой воды. На похороны пришло полсела. Никто не плакал. Все стояли и смотрели на гроб, и в глазах у них было что-то, чего Нина не могла прочитать: не горе, не облегчение. Привычку.

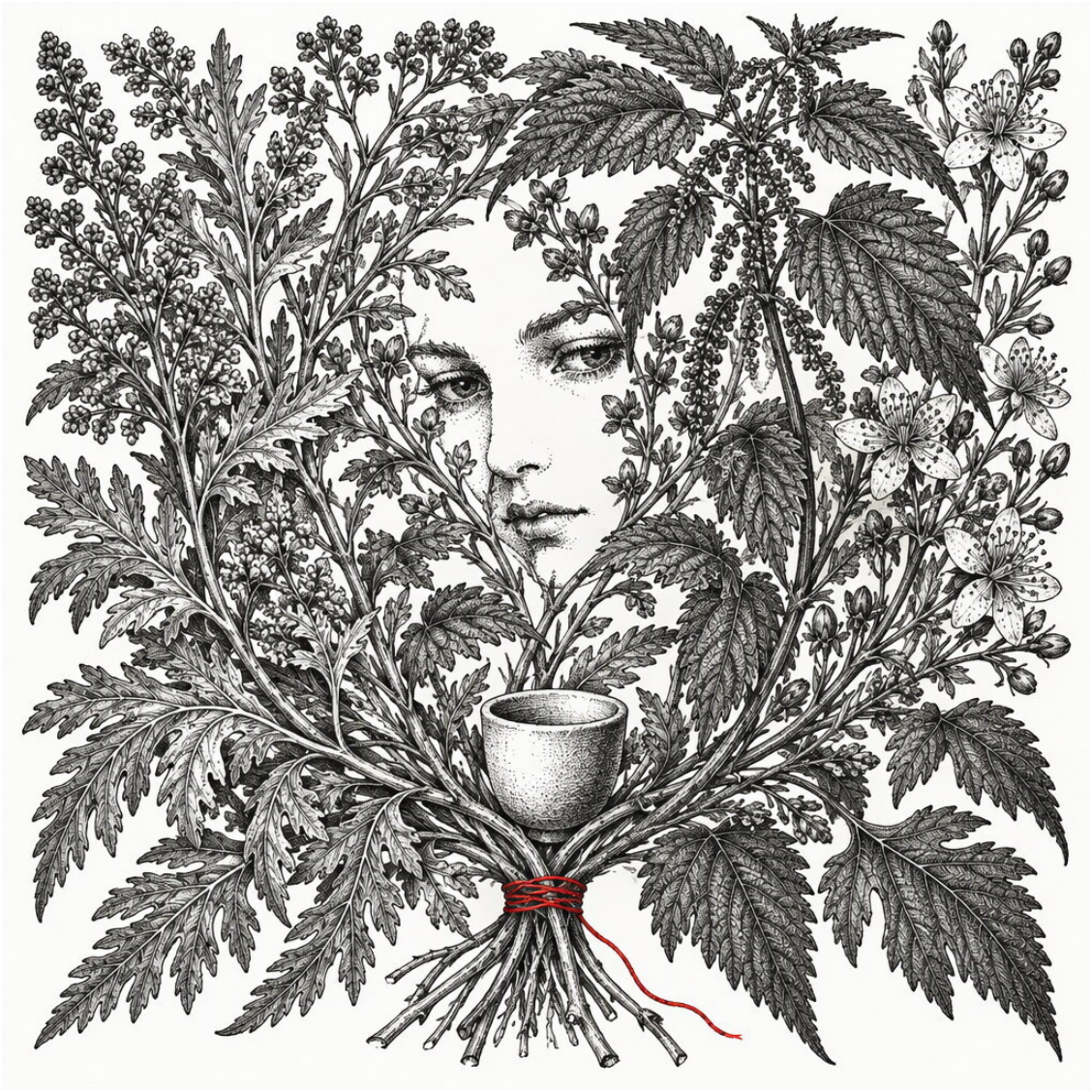
После похорон она вернулась в ФАП, открыла подпол и спустилась вниз.

Корова стояла на прежнем месте. Бидонов стало меньше — может, вдвое. На многих были перечёркнутые имена. Корова дышала ровно. Она не повернула головы.

Нина села на табурет, вымыла руки, взяла тряпку.

— Ну, — сказала она. — По показаниям.

Корова молчала. Потом в глубине её белого тела что-то шевельнулось, и в бидонах плеснуло — тихо, как аплодисменты.



Оберег. Из собрания Костромского этнографического кружка. Найден в доме, где не спали.

X. Из дневника Нины Сорокиной

Тетрадь в клетку, 48 листов. Куплена в сельпо с. Верхняя Сосновка. Найдена А. Вороновым на костромском рынке в 1989 году.

14 января. Матрёна умерла. Я не знаю, что теперь писать. В журнале — прививки. В тетради — это. Пусть будет тетрадь.

20 января. Кормилица не ест, если не сказать «возьми». Я не говорю. Я говорю «по показаниям». Она злится. Молоко горчит. Ничего, выпьют.

2 февраля. Валя пришла. Спросила, можно ли ей посмотреть на корову. Я сказала нельзя. Она сказала: «Я и так вижу». Дети видят. Все дети видят. Взрослые — только те, кто пил.

14 февраля. Вернула сон Серёжиной матери. Она спала двое суток. Проснулась и сказала: «Он меня звал». Я сказала: «Он вас не звал. Он говорил "не надо"». Она заплакала. Я не должна была говорить. Но я сказала.

3 марта. Корова начала ходить. Ночью слышу — она ходит по подполу. Пол не скрипит, но я слышу. Как будто кто-то переставляет бидоны. Утром все стоят на местах. Кроме одного. Я не считаю. Если считать — сойдёшь с ума.

17 марта. Мне приснился мальчик. Не Серёжа. Другой. Он сказал: «Тётя, у тебя молоко горячее». Я проснулась и поняла, что это я. Я стала молоком. Я не боюсь. Это странно — не бояться. Наверное, это и есть «приняла».

1 апреля. Приезжал корреспондент из Костромы. Воронов. Спрашивал про ведьм. Я сказала, что ведьм нет. Он сказал: «Я знаю». И посмотрел на мои руки. Я спрятала руки под стол. Он попросил молока. Я дала. Он выпил и сказал: «Коровье». Я сказала: «Коровье». Мы оба соврали.

4 апреля. Воронов уехал. Оставил адрес. Я не напишу. Он вернётся. Они всегда возвращаются.

Запись без даты. Если ты это читаешь — не пей у меня. И не говори «спасибо». Говори «благодарствую». Это ничего не меняет, но так вежливее.

***

XI. Послесловие составителя

Я был в Верхней Сосновке в апреле восемьдесят первого.

Я приехал за сказками. Я уехал с тетрадью, которую мне не отдали, — я её купил в восемьдесят девятом у старухи на рынке, и она не знала, что продаёт. Тетрадь была в клетку, 48 листов, с пятнами от молока на обложке.

Я пил у неё молоко. Я говорю это прямо, потому что дальше будет неправда, если я не скажу.

Она была молодая. Двадцать четыре года. Она выглядела на двадцать четыре и в восемьдесят первом, и в девяносто первом, когда я приезжал во второй раз. Я не спросил, почему. Я спросил, как дела. Она сказала: «По показаниям».

Я не знаю, что это значит. Я не хочу знать.

В её доме пахло топлёным молоком и мокрой шерстью. На столе стояла эмалированная кружка. Я выпил. Молоко было тёплое, густое, сладкое. Я сказал: «Коровье». Она сказала: «Коровье».

Я записал в тот вечер: «Информант С., 24, фельдшер. Внятных свидетельств не даёт. Отказалась от интервью. Угостила молоком».

Это была моя последняя честная запись.

я потом считал: в комнате было два человека. в тетради — три почерка. мой, её и тот, который дописывал за мной. я не помню, чтобы я это писал.

***

конец первой главы

главу вторую я писал уже не по тетради. тетрадь кончилась на слове «благодарствую». дальше — моё.

Глава 2
ОБРАТНАЯ СТОРОНА ПЕЧИ

Карточка существа

Поле	Содержание
Название	Ведьма. Ведунья. Запечная. Местные: «печная», «та, что за печью»
Класс	Домашняя нечисть. Наследственная, оседлая. Держится строения, а не места
Ареал	Городские квартиры с замурованными печами. Сталинки, комнаты в доходных домах, дачи
Повадки	Не берёт силой. Торгует. Говорит рецептами, а не угрозами. Запоминает слова, сказанные в сердцах
Признаки присутствия	Пахнет зверобоем и горячим кирпичом. Стена теплее в одном месте. Ночной шёпот — женский, старушечий, иногда детский. Посуда переставлена на ладонь
Опасность	Не убивает. Перекладывает. Болезнь, вина и старость переходят с согласившегося на согласившегося
Меры	Не говорить «хочу» вслух. Не топить после заката. Заслонку открывать своей рукой. Не оборачиваться, когда позовут из стены
Достоверность	Средняя. Три информанта, одна тетрадь, один акт о смерти
Примечание Воронова	Я стоял у двери два часа. Мне не открыли. Я слышал, как в квартире диктуют рецепт: женский голос читал, детский повторял

она не сказала «помогите». она сказала «хочу». это разные слова, но дверь открылась одна.

***

I. Ключи

Ключи ей передали в конторе на Сретенке — три штуки на кольце, обмотанном синей изолентой. Пахло бумажной пылью и варёной картошкой.

Дом стоял на углу Чистопрудного, семиэтажный, с лепниной и лифтом, застрявшим между третьим и четвёртым. В шахте пахло мокрой известью и кошками. Ксения пошла пешком.

Ключ повернулся тяжело, с хрустом, будто в замке был песок.

Квартира — сорок два метра, две комнаты, паркет ёлочкой, скрипевший у окна, и высокие потолки с облупленной лепной розеткой. Пахло старой мебелью, мылом и чем-то травяным, сухим, как аптечный шкаф.

В кухне стояла голландка. Её заложили кирпичом, забелили и приделали сверху крюк от вьюшки — для памяти. Кирпич был выкрашен той же белой краской, что и стена, и печь казалась не замурованной, а замазанной, как замазывают царапину на лице.

В большой комнате, у стены, смежной с кухней, был выступ в полкирпича, оклеенный обоями в мелкий синий цветочек. Ксения провела по нему ладонью. Выступ был тёплый.

Она подумала: батарея. Батарея стояла под окном, холодная, потому что отопление ещё не дали. Подумала: соседи. Но за стеной была кухня.

Стена была тёплая.

Ксения приложила ухо. Внутри, глубоко, как в закрытом шкафу, шуршало. Не мышь: мышь шуршит коротко, с паузами. Это — ровно, страница за страницей, как будто кто-то перелистывал книгу и не находил нужного места.

Квартиру она купила в августе на деньги, которые дала мать: продала дачу в Малаховке и сказала — тебе надо начинать заново. Ксения не хотела начинать заново. В марте она развелась; муж сказал, что она пахнет столярным клеем, и это была правда.

Мать так и не увидела эту квартиру. Она заболела в июне, за неделю до сделки, и лежала на Каширке, в четвёртой палате, у окна, выходившего на трансформаторную будку.



Кв. 24. Сентябрь 1991

II. Вера Аркадьевна

В дверь позвонили на следующее утро. На пороге стояла маленькая сухая женщина в сером кашемировом платке, с толстыми пальцами в медных перстнях, позеленевших по краям. От неё пахло зверобоем, воском и чем-то сладким, перестоявшим, как варенье, забытое в шкафу.

— Вера Аркадьевна. Из двенадцатой. Над вами.

— Здравствуйте.

— Вы надолго?

— Навсегда, — сказала Ксения и сама удивилась, как твёрдо это прозвучало.

— Хорошо. Тогда я зайду.

Она вошла, не разуваясь, прошла в большую комнату и остановилась перед выступом у стены. Положила ладонь. Ладонь была сухая, в трещинах, и в трещинах белела известь.

— Тёплая, — сказала Вера.

— Отопление...

— Отопление дают в октябре.

Она повернулась. Глаза у неё были светло-карие, с белёсым ободком.

— За печью тетрадь, — сказала Вера. — Найдёте, когда отдерёте обои. Не выбрасывайте.

— Вы знали прежнюю хозяйку?

— Я её хоронила.

В кухне закипел чайник. Ксения не помнила, чтобы ставила его.

Вера села на табурет, вынула из кармана платка свёрток — сушёные стебли, перевязанные ниткой, — и положила на стол. Стебли были жёлтые, с мелкими цветами, и пахли так густо, что у Ксении запершило в горле.

— Зверобой, — сказала Вера. — От нервов. Вы нервная.

— Я в порядке.

— Вы в порядке, — согласилась Вера. — Только у вас мать умирает.

Ксения поставила чашку так, что блюдце звякнуло.

— Вам кто сказал?

— У вас лицо, как у человека, который считает деньги на лекарство.

Она залила стебли кипятком, и в кухне стало горько и тепло. Отвар был тёмный, с медным привкусом; Ксения сделала глоток, и во рту остался металл.

— Я могу помочь, — сказала Вера.

— Чем?

— Переложить.

— Что переложить?

— То, что у неё внутри. На кого-нибудь другого.

Ксения поставила чашку.

— Это называется убийство.

— Это называется масса, — сказала Вера. — Одинаковая масса. Не больше и не меньше. Ведьма не берёт без слова, милая. Никогда. Даже у врага. Особенно у врага.

— Я не ведьма.

— Пока нет.

Она допила отвар, поставила чашку вверх дном на блюдце — так делают, чтобы не наливали снова, — и встала.

— Если захотите открыть заслонку, откройте сами. Не зовите никого. И не топите после заката.

— Почему?

— Потому что после заката в ней уже не пусто.

***

III. Заслонка

Ксения отодрала обои в тот же вечер, как учили: намочила тряпку, приложила к стене, подождала. Обои пошли целыми полосами, под ними оказалась штукатурка, серая, с волосяными трещинами. Ксения постучала костяшкой. Звук был пустой, как по коробке.

Она принесла из мастерской стамеску и молоток. Штукатурка отвалилась куском, за ней — кирпич, в кирпиче — ниша, в нише — заслонка, чугунная, с литым узором: виноградная гроздь и две птицы по бокам. Ксения взялась за ручку и потянула. Заслонка поддалась с сухим скрежетом, и из стены пахнуло горячим кирпичом, зверобоем и пылью, которой было сто лет.

В нише лежал свёрток. Клеёнка, под клеёнкой промасленная бумага, под бумагой тряпка, а в тряпке — тетрадь в клетку, сорок восемь листов, с пятнами на обложке. Пахла она так, что у Ксении заслезились глаза.

На первой странице круглым ученическим почерком было выведено: «От всякой хвори. Держать в печи. Не выносить на свет».

Дальше шли рецепты: от бородавки, от сухоты, от бесплодия, от пьянства, от тоски, от опухоли. Ксения листала и чувствовала, как под пальцами бумага становится тёплой, хотя в комнате было прохладно. На полях кто-то делал пометки другими чернилами, фиолетовыми, аптечными. На обороте настоящего рецепта — формы 107-У, с фиолетовым штампом и наполовину смытой фамилией, — был записан ещё один.

> «От опухоли. Взять слово. Отдать слово. Масса равная, иначе не примется. Печь закрыть. Не оборачиваться.
>
> Через порог не передают. Стоять надо по эту сторону.
>
> Кто взял — тот и держит. Кто держит — тот и ищет.»
>
> *Оборот рецепта формы 107-У. Москва, сентябрь 1991. Чернила фиолетовые, аптечные. Внизу — след от чашки.*

На сорок первой странице, другим почерком, мелким и косым, было написано:

> «Печь топить до заката. После заката не топить, а если затопишь — не открывай.
>
> Заслонку открывает наследник своей рукой. Чужой рукой откроется, да не туда.
>
> Слово берут только вслух. Шёпотом не берут. Про себя не берут.
>
> Масса равная. Иначе не примется, а возьмётся вдвое.»
>
> *Там же, страница 41.*

Ксения закрыла тетрадь. Потом проверила, заперта ли дверь. Потом села на пол у тёплой стены и просидела до темноты.

Ночью она проснулась от того, что кто-то шептал. Шёпот был ровный, спокойный, как у учительницы, которая повторяет правило для тех, кто не понял с первого раза. Ксения лежала и слушала, и в какой-то момент поймала себя на том, что губы у неё шевелятся.



В. А. Долгополова, 84 г.

IV. Палата

В субботу она поехала на Каширку. В четвёртой палате стояли четыре койки, три были заняты; у окна лежала мать, похудевшая так, что ключицы выступали, как вешалка, и платок на голове был завязан низко, по-деревенски. Пахло хлоркой, мочёными яблоками и гнилью. На тумбочке лежала конфета «Птичье молоко», которую мать не ела.

— Ты продала дачу, — сказала мать.

— Ты сама велела.

— Я велела. А ты продала.

Она помолчала, глядя в окно, на трансформаторную будку.

— Не надо меня жалеть, — сказала она. — Я не боюсь. Я боюсь, что ты останешься одна.

— Мам.

— И ещё. Если кто тебе предложит... — она поискала слово, — облегчить. Не соглашайся. Слышишь? Ни за что не соглашайся.

Мать всегда знала больше, чем говорила.

В коридоре, у окна, висел телефон-автомат с ободранной трубкой. Ксения достала бумажку — номер был московский, семизначный, написанный карандашом и подсунутый под дверь, — и набрала. Гудок был длинный, как в пустой квартире.

— Вера Аркадьевна? Это Ксения. Из двадцать четвёртой.

— Я знаю, кто это.

— Я не хочу вашей печи.

— Хорошо.

— И тетради не хочу. И ничего не хочу. Я хочу, чтобы мать встала и пошла. Хочу, слышите? Хочу — и всё. Больше ничего.

В трубке стало тихо. Так тихо, что Ксения услышала, как в автомате капает вода.

— Вот и хорошо, — сказала Вера очень тихо. — Вот и сказала.

— Что сказала?

— Ничего, милая. Приходите в четверг.

Щёлкнуло. Потом женский голос сказал: «Опустите, пожалуйста, монету», и Ксения долго стояла с трубкой в руке, пока за стеклом кто-то не начал стучать.

Через девять дней врач, Николай Петрович, с усталыми глазами и привычкой снимать очки, когда говорит неприятное, вызвал её в кабинет. Опухоль уменьшилась. Не «немного». Он сказал: «Это не бывает», — и перекрестился, хотя был неверующий. Ксения вышла в коридор и впервые за полгода смогла дышать.

От матери пахло зверобоем. Она говорила, что не пьёт никаких трав.



Форма 107-У. Оборот. 1991

V. Голос

В ту ночь стена была горячее обычного. Ксения сидела на полу, прижавшись к ней затылком, и слушала, как внутри, за кирпичом, кто-то устраивается поудобнее.

— Кто там? — спросила она.

— Никто, — сказали из стены. — Печка.

— Печки не разговаривают.

— Эта разговаривает. Только ты не слушай. Ты спи.

Голос был женский, старушечий, с хрипотцой, но иногда, на концах фраз, срывался вверх и становился звонким, детским, как будто в старухе сидела девочка и выглядывала в щёлку.

— От тоски, — сказал голос. — Взять чужую тоску. Положить в тряпку. Тряпку — в печь. Печь закрыть. Не оборачиваться. Масса равная.

— Зачем вы это читаете?

— Я не читаю. Я перечитываю. Мне надо, чтобы кто-то запомнил.

— Я не буду запоминать.

— Будешь. Ты уже повторяешь.

Ксения прижала ладонь ко рту. Губы действительно шевелились.

— Кто вы?

— Я та, что была здесь до тебя. И та, что будет после.

— Вера Аркадьевна?

— Вера ещё живая, — сказал голос. — Вера — дверь. Я — то, что за дверью.

— Чего вы хотите?

— Слова.

— Какого?

— Ты его уже сказала. Один раз. Мне хватило.

Она засмеялась — коротко, звонко, как девочка, — и тут же закашлялась, долго, старушечьим кашлем, с хрипом и свистом. Потом в стене стало тихо.

— Спи, — сказала она. — Я посторожу.

Ксения проснулась утром на полу, у стены, с ладонью, прижатой к тёплому кирпичу. Во рту был медный привкус, как от отвара.

***

VI. Сорок семь

Вера Аркадьевна худела быстро и неправильно. Она не становилась прозрачной, как худеют от болезни; она становилась меньше. Перстни сваливались с пальцев, платок сделался велик, и в кресле у окна сидела уже не старуха, а её тень, аккуратно одетая в серое.

— Сорок семь, — сказала она, когда Ксения вошла.

— Что сорок семь?

— Килограммов. Я взвесилась в аптеке на углу. Аптекарь сказал: вы давно не ели. Я сказала: я давно не жила. Он не понял.

Ксения села напротив.

— Зачем вы это сделали?

— Потому что я старая, а она нет. Это и есть равная масса. Не по весу, дура. По сроку. Я отдала ей свою разницу. Теперь я держу её болезнь, а она держит мои годы. Пока я жива, всё честно.

— А когда вы умрёте?

— Тогда держать будет некому. И она вернётся. Через девять дней. Как гость, которого забыли позвать.

— Что мне делать?

— Найти массу. Кого-нибудь, кто согласится.

— Никто не согласится.

— Соглашаются, милая. Все соглашаются. Только не сразу и не теми словами.

Вера Аркадьевна умерла в четверг, в четыре утра. Скорая приехала через сорок минут; фельдшер, молодой парень с замёрзшими руками, сказал: «Острая сердечная». На лестнице пахло зверобоем.

На похороны приехала внучка, Ирина, в кожаном пальто, с сигаретой в зубах. Она стояла у гроба и не плакала.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.